

Г.Г. ХАЗАГЕРОВ

ОСЬ ИНТЕНЦИИ И ОСЬ КОНВЕНЦИИ: К ПОИСКАМ НОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В ЛИНГВОКУЛЬ- ТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Когда речевые акты изучались с точки зрения их успешности, позиция исследователя была ясной, верифицируемой и ответственной. Эти качества обеспечивались функциональным подходом. Ясность определялась ролью метанаблюдателя, заведомо отделяющей исследователя от адресата и адресанта сообщения. Метанаблюдатель имел собственную цель, отличную от целей участников речевого общения, — оценить коммуникацию как удачную или неудачную. Верифицируемость вытекала из того обстоятельства, что наблюдателю априорно были известны цели участников общения, сводящиеся к передаче информации и речевому воздействию. Ответственность состояла в том, что он давал рекомендации по преодолению коммуникативных неудач, указывал на эффективные способы убеждения или учил распознавать манипулирование.

При всем том горизонты исследования были сужены границами самого коммуникативного акта. Изучая прагматику говорящего и слушающего (общение на оси «я» — «ты»), исследователь не имел возможности наблюдать более сложные явления, корень которых находился на макроуровне, то есть за пределами этого общения, в большом дискурсе, в обществе — словом, на оси «я» — «мы» («я» и «виртуальные дискурсанты»). Меньше всего такая атомарность исследования служила помехой при изучении заведомо непубличного общения, например, общения при получении справок, тем более при обращении с запросом к автоматической системе, больше всего — при изучении ритуальных форм коммуникации или феноменов искусства.

Новая, постмодернистски ориентированная позиция наблюдателя раздвинула горизонты исследования. Контекст коммуникативного акта стал предельно расширенным и постоянно актуальным, а исследователь-интерпретатор оказался втянутым в интеракцию. При этом исследовательский интерес сместился с проблем успешности речевых актов к проблемам их «исполнения», что особенно оправданно при изучении всевозможных «перформансов» и ритуалов. Концепция передачи информации сменилась представлением об интеракции [1, с. 43], в

Хазагеров Георгий Георгиевич — доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ). **Адрес:** 143002 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 45, кв. 26. **Телефон:** 599–34–40. **Электронная почта:** khazagerov@mtu-net.ru

процессе которой коммуниканты создают смыслы. Априорное лексическое значение слов («то, что пишут в словарях») утратило для этой концепции свою актуальность. Аналитическая философия вообще усомнилась в наличии такого значения.

Исследователь потерял статус метанаблюдателя, отводившийся ему в классической модели информационного процесса, так как теперь он сам не в последнюю очередь создавал «смыслы», которые рождаются не только в самой коммуникации, но и в процессе ее описания. Причем отделить смыслы, рожденные до исследования, от смыслов, рожденных в ходе самого исследования, стало практически невозможно, поскольку трудно определить, что дано априори (ср. необходимость передать такой-то объем информации) и где кончается контекст, подлежащий интерпретации.

Исследователь лишился функциональных ориентиров, и ответственность его позиции перед культурой объективно снизилась.

Чтобы объединить положительные качества двух подходов, нового и старого, необходимо вернуться к функциональности, но уже не на микроуровне — успешности данного речевого акта, а на макроуровне — продуктивности или контрпродуктивности отдельных речевых актов для дискурса в целом. В русле этих поисков и следует понимать содержание настоящей статьи.

Ось интенции и ось конвенции

Концепция диалогизма, утвердившаяся в двадцатом столетии благодаря идеям Михаила Бахтина, Мартина Бубера, Франца Розенцвейга, Ойгена Розентштока-Хюсси и других, а также вследствие победы общего пафоса коммуникативности, сформировала круг определенных представлений о взаимодействии на линии «я» — «ты». Имея собственные интенции, «я» при вступлении в диалог вынуждено считаться с интенциями «ты», которое тем самым косвенно присутствует в адресованном ему высказывании. Успешность такого общения целиком замкнута в самом речевом акте. «Я» и «ты» подобны влюбленным, которым не нужен никто третий, если только не иметь в виду самого Господа Бога. Прагматика — назовем ее *ближней прагматикой* говорящих — также заключена в этих пределах.

Но существует прагматика, выходящая за пределы речевого акта — назовем ее *дальней прагматикой* — и связанная с необходимостью заботы о дискурсе в целом, об обустройстве дискурсивного пространства. Она проявляется, в частности, когда говорящие поправляют друг друга не ради уточнения смысла, а ради торжества языковой или стилистической нормы: «Так не говорят!». Сюда же следует отнести и эстетические требования, предъявляемые к речи.

Забота о дискурсе в целом традиционно изучается такой дисциплиной, как культура речи (в исконном понимании — культура языка,

сейчас лучше сказать — культура дискурса), однако интерес к этой культуре проявляют не только ученые, но и рядовые участники коммуникации. Особую роль в этом играют не только непосредственно регулятивные высказывания носителей языка, но и созданные ими языковые произведения, свободные от «корыстных» уз ближней прагматики. Примером могут служить скороговорки, выступающие и в роли фонетического тренинга, разработанного «коллективным логопедом», и в роли минипособия по культуре речи на тему какофонии и эвфонии.

Для нас важно понять, что выход за пределы речевого акта, или, лучше сказать, представительство в речевом акте чего-то внешнего по отношению к нему (скажем, конвенциональной иллокуции, доминирующей над перлокуцией, по Ю. Хабермасу), обуславливается отношениями другого типа: не «я» и «ты», а «я» и «мы».

На оси «я» — «мы» «я» вступает во взаимоотношение не с интенциями конкретного адресата, а с коллективными конвенциями. Конечно, это затемняется тем, что адресат имеет определенные ожидания, также обусловленные именно конвенциями (скажем, жанровые ожидания), и, считаясь с этими ожиданиями, говорящий тем самым учитывает интенции адресата. Иными словами, «я» — «мы» в пределах речевого акта выражается через «я» — «ты». Это, однако, не должно мешать нам различать две оси общения: ось интенции («я» — «ты») и ось конвенции («я» — «мы»). В свете этого различения, точнее, противопоставления, мы сумеем более адекватно понять многие антиномии общения.

Проще всего преимущества такого различения постигаются на примере принципа «коммуникативной целесообразности нормы». Принцип коммуникативной целесообразности был выдвинут прагматиками. Согласно этому принципу, норма не самоцель, она определяется коммуникативными задачами. Но сегодня эта, безусловно, здравая мысль заводит исследователя в тупик. Если интенциональные девиации — сознательные отклонения от нормы (а сегодня их количество в русской речи столь велико, что им посвящен целый ряд диссертаций, например: [2]) — оказываются успешными и цель речевого акта достигается, следовательно, такие отклонения коммуникативно целесообразны. Здесь, однако, кроется противоречие.

Во-первых, массовое отклонение от нормы в публичной речи вызывает смутную тревогу не у одних только закоренелых пуристов. Этим, скажем, обеспокоена современная русистика. Во-вторых, рассуждая чисто логически, мы в этом случае вообще должны отказаться от нормы: меня поняли и мои слова оказались убедительными, значит, я прав. Все сегодняшние рассуждения об эластичности нормы представляют собой только компромисс между легитимизацией хаоса

и попыткой спасти лицо и не выдерживают логики, потому что абсолютно непонятно, где заканчивается граница эластичности, если для *любой* девиантной формы можно найти оправдывающий ее контекст.

Если же развести ось конвенции и ось интенции, все станет на свои места. Выяснится, что успех на оси «я» — «ты» может быть достигнут в ущерб функциональности на оси «я» — «мы» или, напротив, чрезмерное усердствование на линии конвенциональности может отрицательно сказаться на линии интенциональности, как бывает, когда инициатива говорящих сковывается «риторикой правил». Мы видим, таким образом, реальный баланс индивидуальных интересов говорящего и коллективных интересов потенциальных участников данного типа общения, в пределе — коллективных интересов всех носителей языка. Подобные мысли в связи с целесообразностью нормы высказывались уже в семидесятые годы прошлого столетия [3, с. 47–48].

Это, однако, лишь частный пример. Остановимся на антитезе осей подробнее.

На оси интенции властвует ближняя прагматика, на оси конвенции — дальняя. Такие концентрированные манифестации дальней прагматики, как ритуал, почти целиком располагаются на оси конвенции. «Бескорыстие» носителей языка, находящее выражение в борьбе за его чистоту (скажем, издание нормативных словарей) или в участии в спонтанных коллективных действиях (таких как детские и фольклорные выкрики ритуальных фраз) — это достояние оси конвенции.

Априорное значение слова релевантно для оси интенции, а не для оси конвенции. Связь означающего с означаемым у «я» и «ты» должна быть устроена сходным образом. Это становится особенно очевидным, когда «я» и «ты» принадлежат к разным конвенциональным общностям, например, когда для одного коммуниканта язык общения является родным, а для другого иностранным. В подобных случаях остро стоит проблема коммуникативной неудачи, проблема успешности общения. Причем успешность тождественна функциональности, эксплицитна и легко поддается рефлексии.

Проблема семантики, крайне актуальная для оси интенции, оказывается для оси конвенции неожиданно сглаженной. Ритуал порождает десемантизацию, которая бывает ритуально же закреплена во многих культурах. Примером может служить исполнение ритуальных песен на языке, который неизвестен (и это принципиально!) самим исполнителям. Означающее знака на оси конвенции становится самоценным (автореференция, автонимическая речь). Его ценность возрастает с ослаблением ближней прагматики и усилением «бескорыстия», свойственного, например, художественной речи. Важным становится не то, что сказано, а то, как сказано.

Проблема успешности коммуникации сменяется на оси конвенции проблемой аутентичности. Функциональность же выражается

имплицитно и крайне трудно поддается рефлексии. Мы можем отличить «своего» от «чужого», оценив правильность соблюдения им «наших» конвенций (как в случае с нарушением речевого этикета иностранцем или представителем иной культурной страты). Но мы затруднимся в определении функциональности самой конвенции. Это затруднение корреспондирует с потерей релевантности лексического значения у слов, входящих в клише этикетной формулы. Всякая идиоматичность затемняет логический анализ речи. Но дело даже не в этом. Дело в том, что всякий этикет и особенно ритуал плохо поддается рациональному осмыслению.

Обычно рациональный анализ останавливается на констатации бессмысленности любого ритуала. Если заменить оценочное слово «бессмысленность» нейтральным «асемантичесность», с этим утверждением вполне можно согласиться. Более глубокий и специальный рациональный анализ настаивает на функциональности ритуала, но даже он, как правило, не идет дальше постулата о том, что посредством ритуала устанавливается идентичность. Интуитивно же очевидно, что здесь могут быть явления функциональные и нефункциональные, даже дисфункциональные, но чтобы различить их, нужны специальные усилия. В норме говорящие не склонны рефлексировать по поводу ритуала. Даже в ученых изысканиях разные аспекты конвенциональности не всегда отмысливаются друг от друга, что подтверждается расплывчатым статусом такой древней риторической категории, как «общее место»: то ли это простой маркер принадлежности к традиции, то ли когнитивный инструментарий данной традиции, то ли своеобразный фонд легитимных речевых действий, гарантирующих не то понимание, не то одобрение языкового сообщества, то ли, наконец, это просто набор штампов, позволяющих пользоваться языком нетворчески.

Рефлексия, вообще, является прерогативой интенциональной оси. Общаясь на уровне «я» — «ты», «я» открывает «другого», а это и есть повод для рефлексии. В «другом» я открываю себя. Об этом было достаточно сказано представителями самых разных гуманитарных наук. Однако никакого alter ego, с помощью которого «я» познает себя, на оси конвенции не обретается. Здесь попросту нет «другого», и не потому только, что «я» растворяется в «мы» ритуала, а потому, что «мы» всегда виртуально, потенциально. Ему принадлежит прошлое и будущее, в то время как «я» и «ты» существуют здесь и сейчас. Ось конвенции — это виртуальное пространство, вместилище речей и церемоний, форум. Это общение, взятое в его отвлеченной плоскости, в аспекте исполнения речевых действий, «перформанса». Поэтому, чем больше удельный вес перформативности (понимаемой широко как антитеза «текстуальности»; см.: [4]), тем больше оснований отнести данный случай коммуникации к оси конвенции. Брачную церемонию,

например, можно с большим основанием отнести к этой оси, чем объявление в любви или ссору молодоженов.

Перформатив в узком, остиновском смысле («слово как дело») [5] — это наиболее прямая проекция оси конвенции на ось интенции. «Я клянусь», «я благословляю», «я благодарю» — эти перформативы как бы представляют от имени ритуала в обычном общении «я» и «ты». Но в парном общении они именно представляют и только, прародина же их, конечно, не здесь, а в коллективных действиях.

Феномен художественного слова, как представляется, случай, обратный перформативу: это проекция оси интенции на ось конвенции. Художественный текст — это представление мира «я» и «ты» в зоне «бескорыстной» дальней прагматики. Бахтинская трансформация первичных речевых жанров во вторичные, художественные, например жанра обычного письма в жанр письма литературного, прекрасно иллюстрирует эту мысль. Эта трансформация сопровождается выдвиганием на первый план означающего: актуализуется поэтическая функция языка. Так, в стихотворном послании существенную роль играет эвфония, что не характерно для письма как первичного речевого жанра. Ниже мы остановимся на этом подробнее в связи с проблемой формирования нормы.

Ось интенции и ось селекции. Ось конвенции и ось комбинации

Нетрудно обнаружить сходство оси интенции с осью селекции, по Р.О. Якобсону, а оси конвенции с осью комбинации. Рассмотрение второго сходства представляется особенно плодотворным.

Как известно, Якобсон выдвинул положение об оси селекции и оси комбинации, исследуя речевое поведение афатиков [6]. По его наблюдениям, больные, страдающие расстройствами речи, блокирующими саму возможность выбора нужного синонима из синонимического ряда, возможность селекции, не владеют механизмом метафоры и выходят из положения, прибегая к метонимии. Так, при предьявлении черного цвета больной вместо слова «черный» обозначает этот цвет метонимическим образом, как сопутствующий трауру: «то, что мы делаем для покойника». Однако, утратив способность к селекции, такие больные способны строить длинные предложения с большим количеством служебных слов, связующих, дейктических элементов, то есть не утрачивают способности к комбинации.

Подобное ущербное и потому особо интенсивное существование на оси комбинации наводит на мысль о сходстве ее с осью конвенции. Легко представить себе такого же одностороннего «конвенционалиста», социального афатика, скажем, погруженного в мир молодежной субкультуры подростка, живущего демонстрацией принадлежности к своей группе, то есть использующего молодежный жаргон, специальные опознавательные знаки в одежде и поведении и активно участвующего в коллективных молодежных ритуалах.

Первое основание для сходства — блокирование селекции, то есть вариативности, возможности выбирать. Афатик, услышавший слово, не в состоянии привести его синоним. Ритуализованное использование языка как раз и предполагает отказ от вариантов. Всякая нормативная конвенция есть либо запрещение вариантов, либо их расподобление в соответствии с оттенками значения. Даже норма литературного языка, языка культурных людей, предписывает отказ от вариантов, возможных в национальном языке. Нам не стоит говорить «курей» вместо «кур», хотя система языка предполагает возможность и такого варианта. Если же оба варианта остались в пределах нормы («выпить воду» и «выпить воды»), литературная норма склонна усматривать в них смысловое различие. Известна максима: в языке культурных людей нет синонимов. Но культурные люди знают весь набор вариантов, и их обращение к оси конвенции вполне сознательно. А социальный афатик может быть настолько погружен в свой жаргон, что фактически утрачивает способность говорить на литературном языке, затрудняется в «переводе» своей речи на этот язык.

Второе основание для сходства оси конвенции с осью комбинации состоит в том, что ось конвенции — родина метонимий. Целый ряд метонимий непосредственно отражает этикет, представляя собой зафиксированный в языке ритуал: «взойти на престол», «поднять знамя». Это особенно очевидно в отношении древних метонимий, поскольку по происхождению они напрямую связаны с соответствующими реалиями ритуала: «сесть на злато стремя», «пересечь в стремя кошеево», «преклонить колени» и т. п. Но и любая метонимия вообще возникает именно в целях облегчения «исполнения» общения. Можно сказать, что с их помощью мы обживаем пространство нашего общения. Это свойство метонимии отмечал еще А.А. Потебня. Говоря «выкурить трубку» вместо «выкурить порцию табака, набитого в трубку», мы сильно облегчаем жизнь себе и своим собратьям по коммуникации.

Третье основание — самое любопытное. Ось конвенции, как и ось комбинации, живет во времени и стимулирует развертывание речи или ритуального действия. В пределе можно говорить о бессмысленных развертываниях вроде асемантического предложения афатика или асемантического ритуала примитивных культур. Ритуалы и церемонии имеют свойство длиться, они состоят из последовательности действий. Вспомним, сколь продолжительны ритуальные действия в примитивных культурах. Асемантическая перформативность требует развертывания по самой своей природе. Отсутствие эксплицитной априорной семантики редко сочетается с малой протяженностью. Свойство развертывания проявляется даже в обычной идиоме вроде «денег куры не клюют», где лексические значения отдельных слов не играют роли в понимании целого, меж тем как для выражения смысла этого целого их требуется сразу несколько.

Особое значение при разворачивании приобретает симметрия. Такие словесные фигуры, как палиндром, акrostих, логогриф подтверждают правильность этого наблюдения. Словесные фигуры, связанные с симметрией, даже менее «игровые», чем названные, такие, как хиазм, анафора, эпифора, плока, анадиплосис, служат материалом для строительства афоризмов, ритуальных формул, в том числе формул юридических, нормозадающих. Таковы, скажем, латинские юридические пословицы: «*Testis unus — testis nullus*»; «*Dura lex — sed lex*» и т. п. Понятно и пристрастие к этим фигурам детского фольклора:

Пропала что? — Победа!

Во время чего? —обеда!

Пропала что? — Еда!

Украла ты? — Да!

Это классический логогриф, в котором от слова «победа» последовательно отнимается по букве (ср. латинское «*atoge*» — «*toге*» — «*oge*» — «*ge*»).

Наконец самый простой случай — это использование обычного повтора или рифмы (омойотелевтон). Легко увидеть различие в применении повтора на оси «я» — «ты», когда словами «очень-очень-очень» передается интенсификация значения, необычность эмоционального состояния — словом, когда перед нами знак-икона в своей основной функции, и, скажем, троекратного ритуального повтора, как в ритуале развода супругов в мусульманской культуре.

Четвертое основание для сходства можно усмотреть в том, что ось комбинации, о чем писал сам Якобсон, ускользает от рефлексии, в то время как ось селекции располагает к ней.

Не трудно вообразить себе и афатика противоположного типа, неспособного к разворачиванию длинных предложений, чуждающегося метонимического мышления, но выходящего из положения за счет метафоры, за счет возможностей оси селекции. Подобные случаи также описаны Якобсоном. Такому афатику будет соответствовать «социальный афатик», способный к установлению межличностных отношений, знающий людей, обладающий богатым воображением, но теряющийся в мире условностей и конвенций и избегающий участия в коллективных действиях.

Драма конвенциональности. Конвенция как ресурс

Рассмотрим приведенные выше рассуждения в нормативном, стилистическом и риторическом аспектах.

В Пражском лингвистическом кружке сложилось представление о литературном языке как о форме национального языка, способной различать максимальное количество смысловых и стилистических нюансов. Это свойство литературного языка называется его отшлифованностью [7, с. 378–382]. Представление об отшлифованности

сформировалось на базе функционального подхода к языковым явлениям, то есть на базе такого подхода, когда во главу угла ставится функционирование, способность языковой единицы выполнять свое назначение. С этой точки зрения вполне понятно и представление о коммуникативной целесообразности нормы, о котором говорилось выше. Целесообразно все то, что соответствует цели. Иное дело, что тогда не поднимался вопрос об источнике цели: кроется ли она в сиюминутных интенциях говорящего или в неких коллективных потребностях, в потенциях языка, в которых равно заинтересованы все говорящие на данном языке, весь языковой коллектив.

Ясно, что наличие литературного, то есть гибкого и чуткого к смысловой и стилистической нюансировке языка — всеобщее благо, подобное природным богатствам. Ясно, что это благо существует благодаря закрепившимся, кодифицированным нормам. «Поплывут» нормы — «поплывет» и нюансировка. Если все равно, как назвать лицо человека — «физиономия» или «морда», эти слова перестанут различать соответствующие коннотации. Ясно также и то, что сознательное искажение нормы, сознательное игнорирование закрепившихся различий, даже являясь благом для говорящего, создает определенный риск для коммуникации в целом. При этом в некоторых случаях справедливо будет сказать, что девиантная форма — плод сознательной игры языком, тонкого знания нормы. В иных же случаях эта игра языком уже не будет столь тонкой и вполне может соседствовать с обыкновенной небрежностью или неграмотностью, что мы зачастую и наблюдаем в языке массовой коммуникации: обыгрывание ошибки соседствует с ошибкой, допущенной бессознательно. Это именно та ситуация, когда само отклонение от нормы есть следствие неведения нормой, то есть не является интенциональным. Но во всех случаях, включая первый, речь идет о расточительном использовании общего языкового богатства. Отклонением от нормы именно *пользуются*, повышая вероятность хаотического употребления языковых единиц. Отклонение от нормы, не всегда связанное с безупречным владением языком и не всеми адекватно понимаемое, должно по закону больших чисел привести к нарастанию хаотического употребления языковых единиц, к ослаблению априорных значений, фиксируемых словарями. Неслучайно лейтмотивом многих современных исследований является утверждение, что значений в собственном смысле слова нет, значения создаются контекстом. Совершенно очевидно, что такое положение дел нефункционально для общества в целом: значение можно описать в словаре, контексты — нет. Это и называется расшатыванием нормы, возникающим вследствие противоречивости коллективных и индивидуальных интересов говорящих. Можно ли найти золотую середину, позволяющую гармонизировать общий интерес говорящих и сиюминутные интересы «нарушителя»?

Ответ на этот вопрос нашла уже античная мысль, притом что категория нормы, конечно же, не разрабатывалась ею в контексте современных представлений (норма — довольно поздняя категория, родившаяся в двадцатом веке, инициированная сосюрговскими идеями и полемикой с ними). Но античная мысль пользовалась своими категориями, такими, как аналогия, аномалия, поэтическая вольность (разрешенная аномалия) и метаплазм. Последнее есть измененная языковая форма, неправильная для грамматики, но правильная для риторики.

Таким образом, функционирование языковой нормы рассматривалось в античности в сопоставлении с нормой риторической, то есть нормой для отклонения от норм. Если современные исследователи мыслят достаточно релятивистски: всякое отклонение от нормы есть норма [8, с. 9; 9, с. 437], то для древних важно было зафиксировать сами эти отклонения в целях их общественной легитимизации. Они фиксировались в виде поименованных риторических фигур и тропов («отклонений», аномалий), снабженных, кроме того, парадигмой — классическим примером, образцом, который и функционировал как прецедентный текст. Ярчайший случай «запатентованного» риторикой отклонения от нормы — риторический вопрос, то есть «неправильное», но прецедентно закрепленное использование вопросительной формы. В современной теории речевых актов — это косвенные речевые акты, в частности, кстати, и вопрос в значении побуждения.

И сама норма, и «лицензированные» отклонения от нее задаются образцами. Для норм литературного языка поставщиком таких образцов была художественная литература. «Бескорыстие» ее прагматики, заострение внимания на форме выражения, словом, тяготение к оси конвенции позволяло литературе осуществлять эту функцию. Источником риторической нормы являлся, по-видимому, магический ритуал. И то и другое питалось идеями отвлеченной красоты, благозвучия, симметрии речи, тайного (не вполне ясного для самих говорящих) мотивирования знаков (как в звукоподражании и звуковой диаграмме). На этой почве рождались и грамматические тропы — будущие косвенные речевые акты.

Социальным носителем нормотворческих тестов выступала аристократия, рафинированное сословие, в далеком прошлом — жрецы, в относительно недалеком — художественная элита. Ясно, что в несословном обществе, при множественности элит поставщики всеобщих норм исчезают, оставляя свои функции шоуменам, которые не в состоянии выполнять их таким же образом, как это делали литераторы, и не из-за недобросовестности или недостатка культуры, а в силу объективных причин. Прецедентные тексты массовой культуры плохо «держат» литературные нормы и не способны создавать долговечные риторические нормы, сама же художественная литература утратила эти функции, когда вступила в фазу авангардистских поисков.

В двадцатом веке мы хорошо осознали значение информационного ресурса, но для нормального функционирования в коммуникативном пространстве важен еще один ресурс. Его можно назвать символическим, или аксиоматическим, конвенциональным. Речь идет о ресурсе информации, но не всякой, а образующей запас общепризнанного, добровольно принимаемого (ср. современное понятие «социальный капитал»). Таким ресурсом является норма с ее образцами. Расшатывание нормы есть невосполнимая трата ресурса. В определениях литературного языка всегда подчеркивается, что это такая форма языка, которую носители считают образцовой. Считать образцовой — значит принимать как аксиому. От запаса общих мест, разделяемых всеми носителями языка, от запасов аксиом языка зависят его чувствительность и витальность.

Попробуем, однако, разделить две только что названные категории. Чувствительность литературного языка помогает ему справиться с различием нюансов, она ответственна за сложность культуры, и если и ответственна за ее выживаемость, то опосредованно, через способность справляться со сложностями. За чувствительность отвечает литературная норма и корреспондирующая с ней норма риторическая. Витальность сама по себе, в своей первооснове связана со способностью языка поддерживать чувство культурной идентичности его носителей. Чувствительность обращена к референтам языка, витальность — к его носителям.

Ритуалы детского и обычного фольклора мало способствуют выработке литературной нормы, но, вне всякого сомнения, работают на идентичность. Общности, как известно, образуются ритуалами [см., например: 10]. Лишенные смысла (асемантические) хоровые выкрики, танцы, обряды, зримым образом связанные с установлением культурной идентичности, представляют собой магистральные действия на оси конвенции. Символический ресурс образуют, прежде всего, созданные ими знаки. Однако на оси конвенции создаются и более сложные, рафинированные формы символического ресурса, ответственные за чувствительность языка. Эти более сложные формы вырабатываются рафинированной же частью общества, а в обществе массовом оказываются под угрозой: они истощаются, но не пополняются. В то же время многократно возрастает спрос на символы, непосредственно поддерживающие витальность языка и культуры, символы, за счет которых осуществляется культурная идентичность. Культурные механизмы массового общества работают на пополнение, прежде всего, именно этого ресурса. И эту работу можно и нужно оценивать, отделяя конструктивное от деструктивного и вырабатывая определенные рекомендации.

«Век толп», если воспользоваться выражением С. Московичи [11], познакомил нас с двумя родственными феноменами — тоталитарной культурой с ее манипулированием общественным сознанием и

современной шоу-культурой, также связанной с манипулированием. Однако помимо манипулирования в обеих культурах есть и другая сторона: «толпы» принимают манипулирование во имя чего-то, и это «что-то», как сегодня достаточно очевидно, заключается в чувстве единения, в преимуществах обретенной идентичности. Есть и третья сторона, на которую обычно обращают мало внимания: тоталитарные режимы с их пансимволизмом имеют какие-то пределы. В конце концов эти режимы разрушаются, причем не последнюю роль в механизме их разрушения играет кризис символики, ритуала, кризис конвенциональности. Это особенно ясно на советском примере. Grimасы шоу-культуры, как и ужасы тоталитаризма, также несут в себе самих семя собственного разрушения: навязанные ими ритуалы множатся и постоянно теряют в объеме и устойчивости аудитории.

Жизнь на оси конвенции складывается драматично: с одной стороны, расшатывается норма и язык теряет чувствительность, которая в полном ее объеме становится летучим достоянием лишь немногих его носителей, с другой стороны, содержащиеся в языке механизмы культурной идентичности работают вхолостую, создавая призрачные идентичности всевозможных фанатов.

Всмотримся в эту драму более пристально.

Языковая норма и чувствительность языка

Художественная литература, задававшая норму литературного языка и создававшая образцы, которым добровольно пожелали следовать носители национальных языков, занималась своеобразной сублимацией речевой деятельности, что и нашло неявное отражение в бахтинской теории первичных и вторичных речевых жанров [12].

Живое общение реальных «я» и «ты» поставляло для литературы материал в виде первичных речевых жанров, скажем, жанра объяснения в любви. Эти первичные жанры были функционально ориентированы, приспособлены к интенциям говорящего: в случае с жанром любовного объяснения — к желанию вызвать ответное чувство, задеть гордость и самолюбие собеседника, сломить его сопротивление и т. д. Литература вырывала эти образцы человеческого общения из объятий ближней прагматики и втягивала их в свою «бескорыстную» игру. Так создавались вторичные жанры — рассказы, повести, романы, давая функциональную характеристику которым бывает довольно сложно, вследствие чего и возникает затруднение в построении единой теории жанров для изящной и не изящной словесности. Исключения составляют некоторые беллетристические жанры, такие как детектив или юмореска, имеющие явно выраженную ближнюю прагматику — занять ум, рассмешить, но даже они строятся как сложная художественная переработка первичных жанров.

Переработка первичных жанров во вторичные касается двух вещей: одна из них обязательная, другая необязательная, но достаточно регулярная.

Обязательной является переключение прагматики с ближней на дальнюю, сопровождающееся соответствующим повышением роли формы высказывания, автономичности речи. Эстетическая (поэтическая, по Якобсону) функция речи и есть та дальняя прагматика, которая трансформирует первичный жанр. Именно эта функция обеспечивает привлекательность литературных образцов, а тем самым и нормообразование.

Другая, необязательная, сторона вторичного жанра связана с тем, что, как правило, художественное произведение состоит не из одного, а из целого ряда первичных жанров. Это обстоятельство также важно, потому что именно синтактика, протяженность, комбинаторность имеют прямое отношение к эстетической функции. Именно в связи с синтактикой встает вопрос о ритмизации, эвфонии. Древние авторы выделяли этот аспект под именем теории соединения слов [13]. Этим же в составе риторики занималась теория периода.

Таким образом, изящная словесность изымала из жизни реальные речевые ситуации, переосмысливала их эстетически и располагала переосмысленные жанры в составе больших текстов, заботясь о ритмическом равновесии, благозвучии, гармонии частей художественного произведения. Это означало, что литературное употребление речи ассоциировалось у читателя с неким гармоническим целым, что и делало такое употребление эстетически привлекательным. Так складывалась норма литературного языка. Оторванность от ближней прагматики не только не означала утрату нюансировки, но, напротив, приводила к сосредоточенности на ней, заставляя язык играть всеми красками. Только это были уже не те нюансы, которые определяются контекстом общения, скажем, паралингвистикой, а нюансы, априорно заданные в значении слова, то есть то, что Вилем Матезиус и называл отшлифованностью литературного языка.

В последней трети двадцатого столетия описанный только что механизм образования нормы практически полностью прекратил свое существование. Современная литература уже не является образцом употребления языка, авторитетным для большинства его носителей. Обеспечиваемая нормой смысловая нюансировка поддерживается отчасти авторитетом классики, зафиксированным в словарно кодифицированной языковой норме, отчасти языковыми употреблениями СМИ [14], действующими в этом отношении скорее деструктивно, нежели конструктивно [15].

Средства массовой коммуникации по самой своей природе гораздо тесней, чем литература, связаны с ближней прагматикой. С другой стороны, палитра первичных жанров, к которым обращаются СМИ,

гораздо уже, чем соответствующая палитра художественной литературы. Всевозможные ток- и реалити-шоу — это попытка расширить диапазон первичных жанров, и надо отметить, что она собирает большую аудиторию (см. об этом явлении: [16]). Правда, в отличие от писателя журналист-ведущий не контролирует ситуации в отношении использования языка и сильно ограничен в возможности расставлять нужные акценты. Он не может, подобно писателю, снабжать реплики персонажа оценочными комментариями: «запинаясь, пробормотал» или «неразборчиво буркнул». Но самое главное в том, что красота речи не является для СМИ первостепенной ценностью, и гармония целого, синтаксическая архитектура текста сменяется своей противоположностью — вынужденной мозаичностью, узкими рамками «телеформата». Естественной реакцией на мозаичность становится серийность подачи информации. Серийность — это попытка преодолеть дробность. Но серийность работает лишь на итеративность, перформативность, иными словами, на самообеспечение ритуала. К эстетике, к смысловым тонкостям она уже не имеет никакого отношения. В этом смысле серийность не преодолевает мозаичности.

Словесность СМИ лишается, таким образом, главной функции словесности изящной: это больше не камертон, по которому можно настраивать тонкую языковую коммуникацию. Это то действо на оси конвенции, которое может объединять людей вокруг локализованных перформансов, но уже не в состоянии служить орудием, заостряющим точность языка, — напротив, оно ее притупляет.

На игру языковой и риторической нормы накладывается в драме языка и культуры еще одна сюжетная линия: это наличие нормы стилистической. Стил — это та категория, которая на оси интенции представляет от имени оси конвенции. Это наглядно демонстрируется на судьбе так называемых функциональных стилей, которые точнее было бы назвать стилями дискурсивными, поскольку функциональность, как мы стараемся показать, можно понимать двояко: применительно к оси интенции и применительно к оси конвенции.

Скажем, научный стил, стил научного общения накладывает такие ограничения на употребление языка, которые делают научную коммуникацию удобной для коммуникантов. Обычные описания научного стили в императивных категориях («научный стил должен...») не вполне корректны. Этот стил таков, каковы потребности тех, кто его использует. Должен ли он, например, избегать оценочности и эмоциональности? Если это реально мешает общению «мы» научного сообщества, тогда — да, если же не мешает или перестает мешать, тогда императив отменяется. Система дискурсивных стилей отражает групповые интересы, а не заданный «свыше» стилистический декорум. Сама номенклатура таких стилей должна бы отражать, чего нет, к сожалению, в современной русистике, структуру общества. Сколько существует

устойчивых групп, порождающих устойчивые дискурсы, столько дискурсивных стилей и должно быть в наличии.

Разумеется, школьная система пяти функциональных стилей (официально-деловой, научный, газетно-публицистический, литературно-художественный и разговорный) совершенно не адекватна общественным потребностям. Эта система, предложенная замечательным филологом, тонко чувствующим языковую и политическую конъюнктуру, — академиком В.В. Виноградовым, строилась с учетом функционирования в тоталитарном государстве.

Стилистические нормы задаются образцами, которые зарекомендовали себя своей успешностью. Здесь нет специальной надстройки для дальнейшей прагматики, нет острого идеала, нет камертона. Прагматика дискурсивных стилей всегда дальняя, и поэтому образцы возникают внутри самого общения. Первичные жанры эквивалентны вторичным. Авторефераты диссертаций, аннотации или заявления о приеме на работу рождаются и закрепляются внутри соответствующих дискурсов, в отличие от письма Татьяны к Онегину, которое рождается в жизни, перерабатывается Пушкиным и вновь возвращается в жизнь, но уже в виде образца.

Помимо дискурсивных могут быть рассмотрены и интенциональные стили. Их функция целиком обретается в зоне ближней прагматики и состоит в придании речи определенного имиджа. Например, речь, по замыслу говорящего, должна выглядеть солидно или же остроумно. В этом смысле и стили, делающие ее таковой, можно и нужно называть функциональными. Исторически интенциональными стилями занималась риторика, предлагая некие априорные системы трех, четырех или более стилей (в античной редакции «высокий — цветистый — простой», «величественный — мощный — изящный — простой» и т. п.; в ломоносовской систематике «высокий — средний — низкий»). За каждым стилем была закреплена определенная функция: высокий стиль волнует, цветистый — развлекает, простой — разъясняет.

Эстетические стили, отражающие художественную моду (например, маньеризм), также можно отнести к дискурсивным, но с учетом феномена стилизации они могут служить образчиками для интенциональных стилей. Некогда эстетические стили обслуживали художественный дискурс определенной школы или эпохи, сегодня они могут быть использованы ради индивидуальных, возможно, окказиональных потребностей говорящего: кто мешает возродить маньеризм в искусстве (ср. опыт современных «культурных маньеристов») или даже в быту (любственное или дружеское письмо в этом стиле)?

Так называемые индивидуальные стили, если и их рассматривать под углом сознательного использования языка (выработки стиля), также могут быть отнесены к интенциональным.

Именно интенциональные стили, в отличие от стилей дискурсивных, нуждаются в нормировании «сверху», то есть в задании образцов через гетерогенные для них тексты дальней прагматики. Индивидуум может вырабатывать или корректировать свой речевой имидж с помощью предлагаемого образцового словоупотребления.

Символ, перформатив и идентичность

Мне уже приходилось писать, что объединение метафорической и метонимической когнитивной стратегии порождает особое семиотическое явление — символ [17]. Принадлежа феноменальному миру и будучи репрезентативным явлением, символ в то же время имеет и метафорическую природу, поскольку обозначает, символизирует нечто. Например, доменная печь в советской картине мира тридцатых — пятидесятых годов была символом индустриализации. С одной стороны, она сама являлась одним из феноменов индустриализации и была способна обозначать ее метонимическим образом, как всякая часть, особенно репрезентативная, способна представлять целое. С другой — доменная печь выступала аллегорией «переплавки человеческого материала» и вообще аллегорией переделки старого мира. Совокупность этих качеств превращала ее в символ.

Есть нечто объединяющее символ и перформатив. Это самодостаточность, автообеспечение, аксиоматичность. Перформатив с самого начала был выделен именно потому, что к предложениям типа «Я объявляю вас мужем и женой» неприменим критерий истинности. Они априорно истинны, точнее, попросту самодостаточны. Таков и символ.

Само по себе использование метонимической стратегии не обладает самодостаточностью и лежит в зоне досягаемости для верификации: выбор одного явления из ряда ему подобных в качестве заместителя всего ряда упирается в категорию репрезентативности. Такова, скажем, репрезентативность выборки в социологических исследованиях. В конце концов, метонимия упирается в вопросы индуктивных доказательств. Метафорическая составляющая, взятая отдельно, также не самодостаточна. Применение метафоры есть, в конечном счете, рассуждение по аналогии, а последнее может быть оспорено логически: можно указать границу метафоры, показать ее неприменимость к данному случаю или применимость слабую, непродуктивную. Можно задаться вопросом, что дает использование данной метафоры. Символ же не предназначен для оспаривания. Он, подобно перформативу, постулирует сам себя.

Если присмотреться к манипулятивной риторике тоталитаризма, сразу же бросается в глаза обилие в ней символов и перформативов. Перед нами не риторика доказательств с опорой на силлогизм, пусть даже не логический, а так называемый риторический, известный уже

в Аристотелевой риторике. Перед нами вообще не убеждение, но именно воздействие с опорой на символ и самопровозглашение.

Недавнее советское прошлое дает нам ярчайший пример гиперсимволизации действительности, когда предметы материального мира были больше, чем просто предметы, и даже больше, чем носители семантических прототипов. Домны, каналы, электростанции, прожектора и другие так называемые «предметные концепты» имели символическую природу. Они были способны одной только саморепрезентацией вызывать к жизни и поддерживать существование определенной картины мира. Эта картина не выражалась эксплицитно в виде утверждения, нуждающегося в доказательстве, но имплицитно присутствовала во всем. Она просто тиражировалась, в чем, собственно, и заключается феномен пропаганды.

Другой составляющей советской риторики была питаемая ритуалом фразеологизация языка, то есть фактически дрейф языка в сторону сплошной перформативности, декларации. Такой оборот, как «опережая время», не обладал даже обычной предикативностью и никак не мог быть верифицирован: истинно или ложно это «опережая время»? В этом смысле он ничем не отличался от предъявляемой на плакате линии электропередач или от упоминаний о той же линии в словарных статьях, художественной литературе, выступлениях на собрании. «Электрификация сельского хозяйства» или «обострение классовой борьбы» существовали как штампы, которые невозможно было подвергнуть процедуре верификации. Дело было вовсе не в том, насколько реально было электрифицировано сельское хозяйство, и даже не в том, насколько необходимо было его электрифицировать. Дело заключалось в том, что в толковых словарях иллюстрации к словам с корнем «электро-» роковым образом сводились к теме села.

Советская риторика ничего всерьез не доказывала. Во всяком случае, сильная ее сторона заключалась не в доказательствах. Эта риторика жила декларациями, используя механизмы символизации и перформатизации. Недаром она была связана с ритуалом и визуализацией в не меньшей степени, чем современная шоу-культура. Неориторическое представление о том, что неаристотелевская риторика, опирающаяся не на силлогистику, а на воздействие, более демократична, так как не загоняет слушателя в угол силою неопровержимых доказательств, а лишь предлагает ему свою картину мира, лучше всего проверить на примере риторик тоталитарных режимов. Эти риторики умудрялись обходиться без доказательств даже в судебном красноречии, как это было, например, на знаменитых показательных процессах тридцатых годов, этих незабываемых шоу эпохи тоталитаризма.

Современное «общество спектакля» [18] подменяет реальность своеобразной театральностью именно в процессе массовой коммуникации (см. также немецкие работы, в которых тезис о театральности

заявлен уже в самом заглавии: [19, 20]). В этом же русле лежат известные рассуждения Бодрийяра об «антропоцентрическом двойнике реального» [21, с. 34]. В этом отношении культура общества симулякров очень похожа на тоталитарную, причем «левизна» ее адептов не только не спасает от этого сходства, но лишь усугубляет его, по крайней мере, в том смысле, что эта культура тоже широко использует ритуал и самопровозглашение, а ее риторика не нуждается в доказательной базе.

Современный рекламный слоган, по сути дела, есть перформатив и часть перформанса, каковым является рекламный ролик, клип. Он только по форме (да и то не всегда) похож на утверждение, которое может оказаться истинным или ложным. В действительности вся его сила в итеративности и ритуальности. Итеративность играет ту же роль, что метонимический компонент в составе символа: она опрокидывает речь в жизнь, снимая необходимость в доказательности. «*Gallina Blanca*» — любовь с первой ложки». Если это утверждение повторяют, значит, такая любовь существует, хотя бы в том смысле, в каком объективируется для нас существование идеального, — существует в чьем-то сознании, в слове, то есть существует по определению.

Можно сформулировать такую максиму: «Я говорю, следовательно, сказанное существует». Тиражированный слоган эквивалентен перформативу: «*Gallina Blanca*» объявлена любовью с первой ложки. Что тут можно возразить? Еще ясней обстоит дело со слоганами, построенными на сегментированных конструкциях: «*Тойота*». *Управляй мечтой*». В таких высказываниях элиминирован модус. Если его восстановить, фраза должна была бы звучать так: «Я думаю, что, купив *Тойоту*», ты станешь управлять своей мечтой». В самом же слогане «я думаю» отсутствует и информация преподносится как откровение свыше. Слоган просто декларирует, что покупка данной машины есть управление мечтой. Самодостаточность слогана усиливается его метафоричностью, а в данном конкретном случае даже символичностью. Символичность создается двойной мотивацией образа управления: управление автомобилем принадлежит миру феноменов и является метонимическим компонентом образа, управление мечтой — компонентом метафорическим.

Советский опыт показал, к чему приводят тотальная символизация и фразеологизация языка. Оказалось, что, проявив избыточные усилия на оси конвенции, можно разрушить эти конвенции и сделать страну малоуправляемой, по крайней мере, идеологически. Разрушение же конвенций ведет к жесткому кризису идентичности.

По-видимому, символизация имеет определенный предел, превысив который, она становится контрпродуктивной. Важнейшая функция политического языка — функция синхронизации социальных

действий [22, с. 33 и следующие] — была нарушена в российской действительности вследствие кризиса, поразившего символосферу и сферу фразеологизации.

Здесь нет ни возможности, ни необходимости рассматривать любопытные подробности этого кризиса, описанного мною в готовящейся к печати монографии «Риторика власти в России». Отвлекаясь от исторических нюансов, достаточно обратить внимание на те имманентные, чисто семиотические причины, которые к нему привели.

В отличие от метафоры, роль которой лишь дать креативную модель для понимания жизни или для действия, символ погружен в жизнь и неотделим от нее. Локомотив не только метафора революции и прогресса, он еще и вполне материальный предмет, то, что цепляют к поезду. На метафорах ездить нельзя — на символах можно. С другой стороны, пионерский костер недостаточно просто почаще называть или изображать, его надо хоть иногда зажигать, собирая вокруг него живых людей.

Эта «живая» сторона символа наделяет его некоторым самостоятельным бытием, автономией. Скажем, вследствие технического прогресса паровоз может морально устареть, электричество — начать олицетворять собой не только энергетические, но и информационные процессы (электроника), костер вследствие социальных изменений может символизировать не только отказ от мещанства и готовность к революционным испытаниям (пионерские костры), но и бегство на природу от официоза и партийного контроля (костры шестидесятников, вокруг которых под гитару исполнялись не одобряемые официальной культурой песни) и т. п. Пансимволический мир, как показывает опыт, обладает слишком большой жесткостью, чтобы быть способным постоянно поддерживать определенную идеологическую систему и оставаться неизменным источником идентичности. При обилии символов их связь с жизнью (предметами, с одной стороны, и участниками ритуалов, с другой) не в состоянии сопротивляться динамическим процессам, происходящим в самой этой жизни.

В результате неостановимых естественных процессов происходит своего рода разложение системы символов, их переосмысление. Наступает период, когда символы начинают высмеиваться. Причем это не обычная травестия — спутник живых явлений, хорошо известная карнавализация конвенций, а именно следствие длительных, неподконтрольных процессов. Волна анекдотов о Василии Ивановиче нахлынула задним числом, когда его образ отодвинулся, казалось бы, на периферию советской персоносферы (и роман, и фильм были уже в далеком прошлом). Для героя карнавала в духе Бахтина потребен был бы какой-нибудь более свежий и актуальный образ. Появление этих анекдотов было весомым симптомом распада советской символосферы, возникшего вследствие того, что ее слои пришли в движение, а простора для маневра не существовало.

Возможности фразеологизации языка также не беспредельны, и чем масштабнее фразеологизация, тем труднее ее сохранить. Она также погружена в жизнь через воспроизведение ритуалов и проблему преемственности поколений. Обвал советской фразеологии был грандиозным. Насмешки над ней не прекращаются до сих пор. В то же время следы ее продолжают жить в сознании людей, выросших при советской власти, а отчасти и в сознании их детей. Советская фразеология обрушилась как система, поддерживающая идеологическую норму, а ее частичная сохранность не только не помогает сохранить культурное единство, но и усложняет процесс установления идентичности вместо того, чтобы поддерживать его. Причина этого в том, что единицы символического ресурса — аксиомы — переходят в статус обычного информационного ресурса. Это можно уподобить запасам денег, которые не имеют хождения.

Перформативная риторика также имеет свои пределы. В условиях атомизации общественной жизни потребность в синхронизации, образцах, словом, в добровольном принятии конвенций ради достижения социализации, действительно, велика. Однако использование этой потребности в «корыстных» целях коммерческой или политической рекламы (ближняя прагматика), а также в целях саморекламы с ее «раскручиванием» (перформансом) — это своего рода шантажирование реципиента речи угрозой потери идентичности. Такой шантаж не может длиться вечно, подобно тому, как нельзя постоянно объявлять воздушную тревогу, с тем чтобы собрать людей вместе. К возникающим, как грибы, ритуалам складывается скептическое отношение, а как только они перестают выполнять свои функции, к ним предъявляются в общем-то несправедливые требования: от них требуют сохранения.

«Я», «оно» и рефлексия

Множественность ритуалов объективно ведет к пробуждению рефлексии. Успех двадцати гипнотизеров, работающих в одной комнате, притом что каждый из них добивается от пациентов чего-то своего, сомнителен. Вообще же рефлексия и ритуал плохо совместимы. Но множественность ритуалов подрывает автоматизм восприятия и активизирует механизмы рефлексии. В принципе перформатив заставляет нас повернуться спиной к миру референтов и миру «другого». Но несколько перформативов рядом наводят на мысль о сравнении и обобщении.

Обычный культурный текст перформативного характера, в отличие от текста литературного или риторического, никакой критики не предполагает, а если она возникает, то никакой критики не выдерживает.

Во-первых, такой текст не имеет собственной семантики. Примером критики асемантического перформативного текста может служить

критика политика за отсутствие у него оригинальной политической платформы. Предвыборная стратегия, основанная на чистой перформативности, называется у рядового избирателя «за все хорошее». Серьезного впечатления это давно не производит и ведет к электоральной пассивности населения. В данном случае рефлексия инициируется сравнением политических программ, неотличимых одна от другой.

Во-вторых, перформативный текст редко производит впечатление красивого. Ведь, в сущности, его эстетические качества так же вторичны и факультативны, как и семантические. Итеративностью, цитатностью снимается вопрос не только об истинности, но и о соответствии какому бы то ни было идеалу вообще. Обычная, «обывательская» критика какого-либо смелого перформанса в сфере искусства выглядит как констатация того, что «это уродство» (наряду с тем, что «это бессмыслица»). Но хуже всего то, что эта «обывательская» критика и есть единственно возможная критика перформативного артефакта. Ведь «хвалить» его можно только, что называется, на макроуровне, то есть можно лишь доказывать право перформанса на существование в мире искусства. Подобная «похвала», требующая философской подготовки или известной дерзости, как правило, не имеет отношения к конкретному артефакту. Обычно же именно сопоставление множества разных перформативных артефактов стимулирует «обывательскую» критику, неизменно вызывая к жизни сюжет голого короля.

В-третьих, перформатив не может быть оценен и с личностной точки зрения, потому что он безличен по самой своей природе. Здесь к нему предъявляются претензии по линии обвинения в неискренности или человеческой несостоятельности, несоответствия «героя» его «раскрутке». Объектом такой критики, к примеру, часто становится тот или иной эстрадный исполнитель. Однако критика содержательная, предполагающая обращение к таким категориям, как талант или мастерство, не может найти в этой области благодарного материала. Усилия визажистов сводят на нет даже различия во внешности участников эстрадных шоу. Но и без чудес цифровой культуры хорошая внешность, хороший голос будут играть в мире перформанса не большую роль, чем хороший слог. Ведь в логике перформанса «хорошее» эквивалентно предъявленному.

Так или иначе, перформативы и символы крайне сложно оценивать по какой бы то ни было шкале, кроме шкалы количественного распространения явления, отражающей лишь имеющиеся в запасе мощности: административный ресурс, материальные вложения, режиссура — использование той или иной конъюнктуры.

Неприложимость к перформативам никаких других критериев, кроме «силовых», создает весьма специфическую семиотическую

ситуацию, для которой отсутствие нормы является лишь одним из следствий и которая в общественной проекции грозит обесцениванием культуры и своеобразной фетишизацией силы.

Не прибегая к модным метафорам вроде «состояния после оргии» и не поддаваясь очарованию зла, мы можем весьма прозаично констатировать следующее. При прочих равных на первый план выходит инстинкт самосохранения, заставляющий, по крайней мере, опасаться таких «спектаклей» и «симулякров», которые угрожают жизни и здоровью людей. Поэтому общественное внимание болезненно приковано к ритуалам, требующим человеческих жертв. Отсюда интерес к садическим фантазиям, изуверским сектам и прочим «страшилкам». Ведь на оси конвенции создаются не только конвенции, гармонизирующие отношения между «я» и «мы», конвенции для «нас», но и конвенции иного свойства, опасные для нашего «я».

Это явление можно обозначить сочетанием иных местоимений, а именно тем сочетанием, которым некогда пользовался Фрейд, — «я» и «оно». Но только на этот раз «оно» обозначает не подсознание, по Фрейду, и даже не метаморфозу «ты», по Буберу, а возникновение конвенций, неподконтрольных «я» и осуществляющихся не в его пользу. Если дикари жили в мире ритуалов, поддерживающих их идентичность, то современный человек живет среди множества чуждых ему и даже опасных для него ритуалов массового общества, в облаке бесчисленного количества «ритуальной пыли» вроде рекламных слоганов. Чуждый ритуал пугает и болезненно приковывает внимание ко всему разрушительному. Демонстрация этой разрушительности и есть магистральный путь СМИ, по которому журналист идет не ради «прозрачности Зла» и тотальной непристойности, а под влиянием вполне понятного общественного страха, формирующего соответствующую потребность. «Пыль» же зовет к призрачным идентичностям и приносит разочарование. В добрых старых информационных терминах последнее означает интерпретацию информации как шума.

Такая мрачноватая ситуация хороша, однако, тем, что стимулирует рефлексию. Причем предметом ее, естественно, становится не «я», самоопределяющееся в сопоставлении с «ты», а именно «мы», внутри которого разрастается нежелательное «оно». Поэтому на пути этой рефлексии нам предстоит осветить критерием функциональности не только и не столько мир «я» и «ты», сколько в первую очередь мир «я» и «мы». Возможно, разведение этих миров поможет нам избавиться от мазохистских фантазий на тему культуры катастроф и увидеть катастрофу культуры в плане ее возможного предотвращения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Макаров М.* Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.
2. *Курочкина Л.В.* Интенциональные грамматические формы существительных в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1999.

3. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма, Л.: Наука, 1978.
4. Четыркина И.В. Перформативность как конститутивный признак культуры: этническая и историческая перспектива. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Краснодар, 2005.
5. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986.
6. Якобсон Р.О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990.
7. Матезиус В. О необходимости стабильности литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М.: Прогресс, 1967.
8. Борухов Б.Л. Стиль и вертикальная норма // Стилистика как общепсихологическая дисциплина / Калининский ун-т. Калинин, 1989.
9. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира: на материале русской грамматики. Прагматика. Семантика. Лексикография. Вид. Время. Лицо. Модальность. М.: Языки русской культуры, 1997.
10. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994.
11. Московичи С. Век толп. М.: КСП+, 1998.
12. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986.
13. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов // Античные риторика. М.: Изд-во Московского университета, 1978.
14. Нецименко Г.П. Динамика речевого стандарта современной публичной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001. № 1.
15. Хазагеров Г.Г. Проблемы языковой нормы в свете понятия «красивого», «возвышенного» и «эффективного»: к типологии нормы // Язык в прагматическом аспекте: экспрессивная стилистика, риторика. Межвузовский сборник научных трудов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 2003.
16. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002.
17. Хазагеров Г.Г. Система убеждающей речи как гомеостаз: ораторика, гомилетика, дидактика, символика // Социологический журнал. 2001. № 3.
18. Debord G.E. Societe du spectacle. Paris: Champ Libre, 1967.
19. Schechner R. Theatranthropologie. Spiel und Ritual im Kulturvergleich. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1990.
20. Goffman E. Wir alle spielen Theatr. Die Selbstdarstellung im Alltag. München, 1983.
21. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион – Русская книга, 2003.
22. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004.